

К. Н.
ЛЕОНТЬЕВ

Сочинения



Константин Леонтьев

Кто правее?

«Public Domain»

1888

Леонтьев К. Н.

Кто правее? / К. Н. Леонтьев — «Public Domain», 1888

«Владимир Сергеевич! Грядущие судьбы России и сущность революционного движения в XIX веке; Православие и Всеславянский вопрос; «мир всего мира» перед концом его и т. п. . . . Вот те важные предметы и великие вопросы, Владимир Сергеевич, о которых я намереваюсь писать Вам по поводу не только малого и неважного, но даже и вовсе неуместного столкновения нашего с г-ном Астафьевым нынешним летом. . . . Я ставлю Вас судьей над самим собою и над другим писателем, не справляясь даже с тем, признает ли он Вас со своей стороны пригодным судьей или нет. . . .»

Содержание

Письмо 1	5
Письмо 2	9
Письмо 3	18
Конец ознакомительного фрагмента.	23
Комментарии	

Константин Николаевич Леонтьев

Кто правее?

Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву

О национализме политическом и культурном

Письмо 1

Владимир Сергеевич!

Грядущие судьбы России и сущность революционного движения в XIX веке; Православие и Всеславянский вопрос; «мир всего мира» *перед концом* его и т. п. . .

Вот те важные предметы и великие вопросы, Владимир Сергеевич, о которых я намереваюсь писать Вам по поводу не только малого и неважного, но даже и вовсе неуместного столкновения нашего с г-ном Астафьевым нынешним летом¹.

По этому случаю, весьма для меня прискорбному, я решаюсь на поступок, кажется, небывалый в нашей литературе; быть может, даже и ни в какой. Сам я, по крайней мере, о подобном деле не слыхивал.

Я ставлю Вас судьей над самим собою и над другим писателем, не справляясь даже с тем, признает ли он Вас со своей стороны пригодным судьей или нет^[1].

Я хочу, чтобы Вы рассудили меня с г-ном Астафьевым, обвинившим меня в *нападении на национальный идеал вообще только потому, что я опасюсь либерального всеславянства*.

Я взялся за это дело (за дело суда) несколько поздно. Это правда. Но правда и то, что национальный вопрос в России в наше время до такой степени важен, что говорить о нем (даже и по ничтожному поводу нашего с г-ном Астафьевым недоразумения) никогда не поздно и всегда полезно.

Слишком поздно будет только тогда, когда, присоединивши Царьград к русской короне и сделав на новой и родственной нам почве православного Юго-Востока несколько неудачных шагов по пути религиозного и культурно-государственного обособления от Запада, мы увидим с горестью, что все это одни лишь мечтания и что нам предстоят только две дороги – *обе бесповоротно европейские*. Или путь подчинения папству, и потом, в союзе с ним, борьба на жизнь и смерть с антихристом демократии; или же путь этой самой демократии ко всеобщему безверию и убийственному равенству.

Но пока мы все еще стоим на нашей старой русской почве, и будущее России, даже и ближайшее, по-прежнему остается загадкой.

И ввиду этой загадочности г-н Астафьев вполне прав, говоря, что нам необходимо вникнуть как можно сознательнее в наши национальные задачи и разъяснить их друг другу.

Гневаться только при этих разъяснениях не надо друг на друга уж так сильно, как прогневался он на меня в № 177 «Московских ведомостей» <18>90 года.

¹ «Русское обозрение», март; «Гражданин», май, № 144 и 147 и «Московские ведомости», июнь, № 177 (все – <18>90 года)

Можно ли, например, рассудите по справедливости, укорять меня даже и за то, что мои два фельетона, напечатанные в «Гражданине» в ответ на его краткую и почти пренебрежительную заметку в статье «Национальное сознание», были слишком «обширны»!

Ведь эта «обширность», «обширность», «обширность», которой он меня как бы дразнит, доказывает, что я очень дорожу его мнением – и больше ничего.

Разве – это обидно?

Нельзя мне и не дорожить его мнением.

Человек казался весьма близким ко мне по идеалам своим и недавно еще трудами моими не только не брезг<ов>ал, но и весьма публично их одобрял.

Сам по себе это сверх того писатель в высшей степени серьезный, умный, сведущий. Правда, многие укоряют его за то, что, задумывая свои статьи всегда очень глубоко, он пишет не всегда ясно и легко. Но и с этой стороны он с каждым годом исправляется все больше и больше. К тому же, относительно этой «темноты» я должен прибавить, что сам я давно уже стал свыкаться с ней и, несмотря на весь дилетантизм и слабость моего метафизического образования, выучился скоро понимать по симпатии его *чувства* даже и тогда, когда плохо понимал его *слова* и *мысли*.

Потому-то, между прочим, что я всегда почти умел видеть родственный мне свет сквозь дымку его изложения, я и был так неприятно изумлен его заметкой в «Русском обозрении».

Я прежде, хотя и не без напряжения, но все-таки понимал его; теперь решительно не понимаю, о чем он говорит! Значит, на этот раз или он ошибся, или я в каком-то затмении.

Вот что я подумал.

Но одна невыгодная для меня ошибка другого писателя (если и предположить, что я действительно правее его) еще не дает мне права пренебрегать его мнениями, если я, до этой неправильной оценки, эти мнения ценил. Ошибся; что ж за беда? Кто ж не ошибается?

Пусть г-н Астафьев говорит, что у «национального начала» есть и противники, и защитники «посерьезнее» и «поизвестнее» меня. (Иными словами, что мои взгляды не очень-то важны.) Это его дело.

Пусть он считает меня несерьезным писателем; я буду считать его серьезным.

Пусть он почти радуется тому, что у «национального начала» есть и противники, и защитники «поизвестнее» меня.

Я, напротив того, радуюсь тому, что его известность в последнее время возрастает, и желаю ему еще больше успехов, потому что его идеалы мне симпатичны, потому что его деятельность в глазах моих полезна; потому, наконец, что я не теряю надежды на еще большее улучшение его манеры писать.

Пусть и теперь, читая случайно эти мои к Вам письма, уже несравненно более «обширные», чем фельетоны мои в «Гражданине», пусть он, как бы с удовольствием победителя, назовет их уже не обширными только, а прямо «нескончаемыми», – я все-таки не позволю себе ни пренебрегать его мнением, ни издеваться над ним, ни дразнить его...

Не позволю я себе этого прежде всего потому, что это было бы неискренно с моей стороны – я его уважаю. Во-вторых, потому, что не могу без отвращения видеть, когда какой-нибудь «сотрудник» с пеной у рта лезет на стену из-за своего литературного самолюбия, как будто и в самом деле без его «взглядов» и вода не освятится! Не желаю напоминать ни другим, ни даже самому себе такого сотрудника. Ибо иное дело доходить даже до бешенства за идею; и другое дело за *свою* какую-нибудь заметку, статью или книгу источать яд. Противно!

И, наконец, я себе не позволю ничего подобного по *многим другим побочным побуждениям*. Эти побочные побуждения весьма важны; правда, они такого, большею частью *личного* характера, что перед *читающими* не годится их обнаруживать; но сам *пишущий* должен им *втайне* подчиняться, если он не отвергает, что в литературные отношения не мешает вносить нравственные и сердечные мотивы.

Итак, я сам предвижу, что письма мои будут весьма «обширны»; сам знаю, что буду многословен и буду часто отвлекаться в сторону...

Простите же и Вы, Владимир Сергеевич, мне эту немощь мою.

Предмет спора так значителен; чувства мои до сих пор еще по временам так горячи; и к тому же мне до того хочется *понять* моего загадочного (на этот раз) обвинителя, что я это понимание готов с радостью купить даже и ценой признания моей собственной неправоты.

Обратимся же к самому делу.

Ход нашей с г-ном Астафьевым «истории» Вам, кажется, знаком; но я его все-таки здесь для порядка напомним; тем более что я надеюсь: авось либо не Вы же одни во всей России будете эти мои письма читать.

Я издал брошюру под заглавием «Национальная политика как орудие всемирной революции».

Заглавие было неудачно, *неточно*. Нужно было сказать: «Политика национальностей (la politique des nationalites). Или, пожалуй, «*Племенная* политика – орудие революции».

Г-н Астафьев, возражая на Ваши взгляды, в своей статье «Национальное сознание» («Русское обозрение», 1890, март) – посвятил мимоходом и мне одну страничку, которую начал так: «Не страшны для национального *идеала* и такие нападения и т. д.».

Я же, как Вы знаете, считаю себя защитником и служителем этого «национального идеала».

Изумленный донельзя таким пониманием моей мысли, я напечатал в «Гражданине» два фельетона под заглавием «Ошибка г-на Астафьева».

Надеюсь, что всякий, кто прочтет в спокойном состоянии ума это возражение, найдет, что оно написано добродушно и уважительно.

Мне кажется, в нем гораздо больше заметно огорчение, чем гнев; удивление тому, как из единомышленников я вдруг попал в противники, чем намерение оскорбить г-на Астафьева.

Вы помните, *как* он ответил мне на это в «Моск<овских> ведомостях».

Я после этого прямо ему возражать не буду.

Ему самому у меня ответ один – из Книги Бытия: «*Не согрешил ли еси; умолкни*» (гл. IV^[2]).

Для меня дороже всего в этом споре его умственная, теоретическая сторона.

Я ищу не победить, не переспорить: я желаю только *понять*.

Я хочу, чтобы Вы, Владимир Сергеевич, растолковали мне – кто из нас двух теоретически правее.

Разница в нашем с г-ном Астафьевым понимании одного и того же дела до того уже велика, что тут, мне кажется, нет возможности примириться на чем-нибудь среднем без посторонней помощи. Кто-нибудь один из нас должен быть признан вовсе не понимающим другого.

Я, впрочем, уж и прежде пытался взять значительную часть вины на себя; я согласен признаться, что я не в силах понять, *о чем* говорит г-н Астафьев. Я не в силах изломать все мои привычные представления и понятия до такой степени, чтобы и на этот раз попасть в течение его мысли. Г-н же Астафьев думает, что понял меня.

Он, видимо, уверен в себе; я в себе сомневаюсь; он признает себя вполне компетентным в том культурно-политическом вопросе, которым я давно занимаюсь. Я в метафизических изворотах легко теряюсь и вовсе не считаю себя в них сильным. Я только изумляюсь; я только спрашиваю себя: возможно ли понимать то, что я говорю, так, как понимает его г-н Астафьев? Г-н Астафьев, напротив того, думает, будто бы чем-то пробил «значительную брешь» в тех основаниях, которым, по его же словам, я так давно и так «страстно» служу... И будто сознание моей теоретической неправоты возбуждает во мне затаенный гнев.

Искренно и положа руку на сердце, говорю, что мне и в голову ничего подобного не приходило, когда я читал его статью в «Русском обозрении». Рассудите, прошу Вас, чем он

мог «пробить» эту «брешь»? Я, напротив того, думал, что он, заботясь по-своему о национально-духовном обособлении России, вторит мне, рассматривая дело со своей, особой точки зрения. Другим путем идет к тому же.

Я сам себе представлялся анатомом и физиологом национального вопроса; он казался мне химиком или физиком, долженствующим подтвердить мои выводы и наблюдения.

Он заботится об особом, так сказать, «стиле» русского национального *сознания*; об особом психическом строе русских людей. Я в моей брошюре («Национальная политика») и во стольких других сочинениях моих указываю на то, что строй психический и религиозно-политические идеалы славян, не только австрийских, но и восточных, – гораздо ближе к буржуазно-европейскому строю и к либерально-утилитарным идеалам, чем к тем, которые преобладают в нашем народе. И, указывая на эту глубокую разницу, я постоянно твержу, что панславизм может стать безопасен для нас лишь в том случае, если современное нам, новое движение русских умов к «мистическому» и «государственному» (движение, в котором и г-н Астафьев участвует) – окажется не эфемерной реакцией, а плодом действительно глубокого разочарования в европеизме XIX века. (Именно только XIX и конца XVIII; европеизм же *старый* может служить хорошим примером во многом.)

Возражая Вам на Вашу религиозно-космополитическую проповедь, г-н Астафьев уж скорее должен был бы цитировать меня, а никак не возражать мне. А если он не находит нужным цитировать меня даже и мимоходом (я ведь этого не требую), то должен был бы совершенно умолчать обо мне. Его краткая заметка обо мне в статье, написанной против Вас, – точно ненужная заплатка на цельной одежде другого цвета и другой материи.

Положим, что мне очень приятно быть в Вашей компании, но не до такой степени, чтобы радоваться, когда меня обвиняют в том, в чем я не виновен: в нападении на «национальное начало» или на «национальный русский идеал».

Впрочем, чтобы уж не слишком повторяться, я лучше попрошу редакцию «Русского обозрения» перепечатать здесь из «Гражданина» мою статью «Ошибка г-на Астафьева».

Она невелика и тем удобна, что в ней помещены как страничка г-на Астафьева, направленная против меня, вся сполна, так и отрывок из моей брошюры, дающий, кажется, довольно ясное понятие о моих главных и конечных выводах против *чисто политического панславизма*. И для читателей, таким образом, главный предмет спора будет яснее, и Вам будет легче по готовому рассудить нас.

Письмо 2

Вот обещанная в первом письме статья «Гражданина» (<18>90. 26 и 29 мая, № 144 и 147).

Ошибка г-на Астафьева

Редко в жизни моей приходилось мне удивляться так, как удивился я недавно, когда в статье г-на Астафьева «Национальное самосознание» («Русское обозрение», март) прочел, будто бы я *нападаю на национальный идеал* в моей брошюре «*Национальность как орудие всемирной революции*».

Прежде всего замечу, что мне как-то особенно не посчастливилось с заглавием этой брошюры. Правда, оно само по себе уж тем нехорошо, что слишком длинно. Это моя вина. Но я утешал себя тем, что смысл этого длинного заглавия, по крайней мере, очень ясен. Но и в этом я, кажется, ошибся.

Люди, вполне надежные, говоря об этой в недобрый, видно, час изданной брошюре, изменяют по-своему ее заглавие и придают ему этим совсем иное значение. В прошлогодней июньской книжке «Русск<ого> вестн<ика>», в отделе библиографии, был о ней довольно благосклонный отзыв; но озаглавлена она не просто «Национальная политика», как у меня, а «Национальная *русская* политика как орудие революции».

Именно *о русской-то* политике у меня там говорено очень мало – два слова в конце.

Г-н Астафьев также нашел, что слова «национальная политика» и «национальность» – одно и то же, и, цитируя мое заглавие, заменил первое название вторым.

Можно было бы и промолчать об этом. Из-за такого неважного недосмотра смешно вляпываться в какую-то авторскую амбицию. Но само содержание краткой заметки г-на Астафьева до того удивительно, что приходится и нехотя возражать.

Кроме этой непостижимой напраслины, которую взвел на меня г-н Астафьев, и кроме небольшой статьи «Русск<ого> вестн<ика>», брошюра моя удостоилась еще и внимания А. А. Киреева, который возражал мне целой солидной книжкой «Народная политика как основа порядка»^[3].

И с г-ном Киреевым, и с «Русским вестником» столкнуться можно...

Библиографическая заметка «Русского вестника» кончается следующими словами:

«Нельзя не согласиться с автором, что наш демократический век слишком сер, что в нем царит посредственность, что стремление к «ассимиляции» губит чувство изящного, опошляет жизнь. Мещанская шаблонность наложила печать на все высшие проявления, человеческого духа, на его «творчество», всегда оригинальное. Великим государственным умам не дают развернуться тесные рамки законности, да и спроса на них нет, хотя в самых «передовых» странах все громче и громче слышатся презрительные отзывы о тех свободных учреждениях, которые приобретались ценою крови. Демократия повела человечество не вперед, а назад, обезличила духовного человека, превратила его в дельца, в труженика для достижения материальных благ. Целые нации стали походить одна на другую. По мнению автора брошюры, нет ничего невероятного в том, что если народы не образуются, то современный политический национализм роковым образом приведет их к образованию всеевропейского, а затем и вселенского демократического государства. Находятся и сторонники такой утопии – клерикалы и социалисты, но их песенка спета в России».

Что могу я возразить на эти слова?

Разве то, что неизвестно еще, так ли окончательно и безвозвратно спета в России песня социалистов и клерикалов и что ввиду подобных опасностей мнительность и для государства, и для национальной культуры – гораздо полезнее, чем самоуверенность и беспечность.

И только. Ибо несомненно, что критик очень хорошо понял, чего я желаю и чего я боюсь.

Он понял, что я желаю утверждения в России национальных особенностей, что я люблю национальный идеал наш и боюсь, как бы неосторожное и преждевременное сближение (а потом и слияние) наше с либеральными и католическими славянами не повредило бы этому национальному идеалу – не погубило бы наших национальных особенностей, не утопило бы их в страшном море европейского демократизма.

Понял, чего я хочу и чего я боюсь в России, и г-н Киреев.

Главный смысл его возражений следующий: относительно Западной Европы он, подобно «Русск<ому> вестн<ику>», согласен со мной, что многое в ней стало хуже прежнего; но прибавляет, что нельзя же жертвовать свободой и другими удобствами жизни для сохранения всего того, что могло быть в прежней жизни величаво, живописно, симпатично и т. д.

Относительно положения дел на православном Востоке г-н Киреев старается прежде всего оправдать славянофилов, которых я обвиняю в «либерализме». Он говорит: «Не славянофилы виноваты в том, что Болгарии навязали учреждения в западном духе – не славянофилы, а западники в среде нашей дипломатии и т. д.»

Кончает свою брошюру г-н Киреев так:

«Нет, почтенный автор не остается верным избранному им эпитафю; его артистическая натура, его весьма законное отвращение от «эгалитарной» пошлости довело его до самых несправедливых обвинений, и не к нам, славянофилам, а, напротив, к нашим противникам должны быть направлены его укоры!

Простое восстановление старого порядка, простое к нему возвращение, ежели бы и было возможно, не могло бы уже помочь делу, не могло бы уже остановить западные государства на пути к падению; не в этом следует им искать спасения от угрожающей опасности. Что же касается до национальной политики, то она не только не представляет опасности, а совершенно наоборот, ведет к облагораживанию политических идеалов и к установлению того порядка, к тому переустройству Европы, которое одно способно гарантировать ей мирную будущность и спокойное развитие ее нравственных и даже материальных сил».

Таково общее против меня заключение г-на Киреева.

Положим, что человеку, подобно мне, претендующему давать советы практической политики, не особенно лестно слышать, что его чествуют «артистом»...

Положим еще, что можно бы напомнить г-ну Кирееву взгляд Данилевского на прекрасное, выраженный им в следующей краткой заметке:

«Красота есть единственная духовная сторона материи; следовательно, красота есть единственная связь этих двух основных начал мира»^[4]. И еще его же мысль: «Бог пожелал создать красоту и для этого создал материю»^[5].

И, напомнив эти строки моему почтенному оппоненту, я могу спросить его: «Неужели нельзя приложить этого взгляда и к человеческим обществам?» Жизнь человеческих обществ (состоящую из жизни плоти и жизни духа) можно тоже рассматривать и одновременно, и попеременно (не впадая в непримиримые противоречия), и с религиозной, и с эстетической стороны. Ибо, несмотря на то что развитие прекрасного в жизни сопряжено со многими скорбями, пороками и даже ужасами, эта эстетика жизни гораздо менее губительна для религиозных начал, чем простая утилитарная мораль. Диоклетианы и даже Борджиа были гораздо менее вредны для христианства, чем многие очень скромные и честные бюргеры нашего времени. Ослабеют все проявления героического, живописного, трагического, демонического в жизни обществ, иссякнут мало-помалу в ней и все религиозные, и даже все государственно-практические силы, разве за исключением одной индустрии, одного утилитаризма (весьма вдобавок

обманчивого). Сверх этого я мог бы доказать г-ну Кирееву, что я вовсе не считаю славянофилов виноватыми в современном положении дел на православном Востоке; и в брошюре моей *этого именно* нигде не говорил. Да кстати сказать, я вовсе и не нахожу положения этих восточных дел столь ужасным для нас. Если не *слишком опоздаем* присоединить Царьград, то все тотчас же исправится; а без счастливой войны, разумеется, нельзя ничего сделать, и я, веруя в будущность России, *верю и в близость этой счастливой войны*. Конечно, не славянофилы, а их противники виноваты в том, что болгарам дали европейскую конституцию. Это верно; но когда я говорю «эгалитарный либерализм» или просто «либерализм», я подразумеваю не одну только «конституцию», но и многое другое: и гражданскую равноправность или бессословность (которых славянофилы были всегда защитниками), и какой-то *немножко* протестантский дух, которым веет от их богословских трудов, и *неканонические* их сочувствия болгарским рационалистам в церковной распри с патриархом и т. д. и т. д. Но я никогда и нигде не говорил, что славянофилы «хотят отступить от Церкви». Избави меня, Боже, от такой клеветы! Я могу только опасаться, что, сочувствуя слишком безусловно *племен*, можно повредить Церкви и нечаянно. О простом восстановлении «старого порядка» на Западе, разумеется, нечего думать; на самом Западе даже, по всем слухам и признакам, никто об этом не думает. Да и признаюсь с полной откровенностью, что мне никакого дела нет ни до «мирной будущности» современной демократической Европы, ни до «спокойного развития ее нравственных и материальных сил». Я полагаю, что русскому человеку, живущему в конце XIX века, все это должно быть важно только с одной точки зрения: с той, чтобы слишком большое развитие этих нравственных (??) и материальных сил – демократических и механических – не помешало бы нашему самобытному развитию. Сама же по себе Европа не заслуживает более серьезного внимания; она пример *для неподражания* и больше ничего. В моей брошюре я говорил много о политической патологии Запада; но ни о каких «лечениях» и восстановлениях не только не думал, но не раз и прямо указывал, что они невозможны. Мой медицинский эпиграф: «Qui bene distinguit bene medetur»^[6] – назначен был только для русских. Он значит вот что: «Панславизм (хотя бы и самый постепенный) неизбежен; но он опасен, как видно из примеров других племен, потому-то и потому-то... Дело не в славянстве, дело в самобытном *славизме*... и т. д. Надо различать *культурно-национальный* идеал наш от грубого и простого *политического* идеала, от идеала «какого ни на есть» общеплеменного объединения»...

В книге г-на Киреева затронуты много интересных вопросов, и я очень жалею, что по разным причинам не могу вступить теперь с ним в основательное, долгое и дружественное прение. Спор о подробностях между нами возможен уже потому, что мы понимаем друг друга и в самом существенном вполне согласны.

Вот что говорит г-н Киреев на с. 21 своей книги:

«Г-н Леонтьев совершенно прав, утверждая, что славянофильство должно вести к *славяноособию*, к духовной, умственной и бытовой самобытности; что оно должно идти рука об руку с Церковью и сторониться политиканства и опрометчивого либерализма, разрушающего без толку все существующее! Это совершенно верно, но кто же из нас, славянофилов, говорит противное?»

Сверх того в начале своего труда (на с. 4 и 5) критик мой приводит выдержки из моей брошюры и делает это в высшей степени добросовестно; эти цитаты очень точны и существенны для разъяснения моего взгляда.

При таких условиях серьезный спор не только возможен, но и для читателей, и для обоих авторов полезен.

За некоторые поучительные возражения я г-ну Кирееву даже весьма признателен. Они могут мне вперед пригодиться.

Но с г-ном Астафьевым по поводу его обо мне заметки в статье «Национальное самосознание» я спорить не буду.

Это решительно невозможно!..

Я говорю одно, а он говорит совсем о другом. Он меня понял до того уже превратно, что читаешь и глазам не веришь... И я, с моей стороны (признаюсь в моем бессилии), его «отвлечений» решительно на этот раз не понимаю.

Быть может, мы оба виноваты. Но если так, то спор тем более невозможен.

Для меня, г-н Астафьев говорит не о моей брошюре, а о какой-то другой, *не моей*.

Я воображаю, что являюсь в моей книжке пламенным *защитником* русского национального культурного идеала. Г-н Астафьев говорит, что я на этот идеал *нападаю*.

Тут уже невозможен никакой диспут! Я от него заранее отказываюсь.

Я желаю только протестовать против подобного не заслуженного мною обвинения.

Я бы не стал и протестовать, если б г-н Астафьев сказал так: «Леонтьев хочет защищать культурный русский идеал от излишеств национализма племенного; он всегда стоял за самобытность нашу; но эту брошюру он написал так дурно, что можно при невнимательном чтении, пожалуй, подумать, что он на этот идеал *нападает*».

Это был бы укор моей неумелости, моему стилю, моей непоследовательности, одним словом – укор литературный... или философский, пожалуй.

Это еще не большая беда.

Но укор г-на Астафьева – укор почти *гражданский*. Он говорит, что я *нападаю именно на то, чему я готов и теперь всеми последними силами моими служить*...

На такое обвинение, на такое непостижимое недоразумение не могу отвечать молчанием.

О том, *как* я пишу, пусть судят другие. О том, *что* я пишу и для *чего*, с *какой целью* – я сам наилучший судья.

Я не судья исполнений; я судья лишь намерений моих.

Разбирать окончательно заметку г-на Астафьева не буду. Я в ней не вижу ясных отношений к моей основной мысли (о вреде племенных объединений в XIX веке). Как же я могу возражать основательно на то, что для меня совсем непонятно?

Поэтому я предпочитаю выписать сначала из моей брошюры такой отрывок, в котором сосредоточены и самые основные взгляды, и самые последние практические выводы мои относительно России и славянства, а потом приведу небольшую заметку г-на Астафьева всю сполна.

Пусть читатели судят сами. Вот отрывок:

«Псевдонациональное или племенное начало привело шаг за шагом Европу к низвержению всех тех устоев, на которых утвердилась и процвела западная цивилизация. Итак, ясно, что политика племенная, обыкновенно называемая национальной, есть не что иное, как слепое орудие все той же всесветной революции, которой и мы, русские, к несчастью, стали служить с 1861 года.

В частности, поэтому и для нас политика чисто славянская (искренним православным мистицизмом не исправленная, глубоким отвращением к прозаическим формам современной Европы не ожесточенная) – есть политика революционная, космополитическая. И если в самом деле у нас есть в истории какое-нибудь особое, истинно национальное, мало-мальски своеобразное, другими словами – культурное, а не чисто политическое призвание, то мы впредь должны смотреть на панславизм как на дело весьма опасное, если не совсем губительное.

Истинное (т. е. культурное, обособляющее нас в быте, духе, учреждениях) славянофильство (или, точнее, культуροфильство) должно отныне стать жестоким противником опрометчивого, чисто политического панславизма.

Если славянофилы-культуролюбцы не желают повторять одни только ошибки Хомякова и Данилевского, если они не хотят удовлетвориться одними только эмансипационными заблуждениями своих знаменитых учителей, а намерены служить их главному, высшему идеалу, т. е. национализму настоящему, обособляющему и утверждающему наш дух и бытовые

формы наши, то они должны впредь остерегаться слишком быстрого разрешения всеславянского вопроса.

Идея православно-культурного русизма действительно оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же во что бы то ни стало – это подражание и больше ничего. Это идеал современно-европейский, унитарно-либеральный, это стремление быть как все. Это все та же общеевропейская революция.

Нужно теперь не славянолюбие, не славянопотворство, не славяноволие – нужно славяномыслие, славянотворчество, славяноособие – вот что нужно теперь!.. Пора образумиться!

Русским в наше время надо, ввиду всего перечисленного мною прежде, стремиться со страстью к самобытности духовной, умственной и бытовой... И тогда и остальные славяне пойдут со временем по нашим стопам.

Эту мысль, простую и ясную до грубости, но почему-то у нас столь немногим доступную, я бы желал подробнее развить в особом ряде писем об опасностях панславизма и о средствах предотвратить эти опасности. Не знаю, успею ли.

Я полагаю, что одним из главных этих средств должно быть по возможности долгое, очень долгое сохранение Австрии, предварительно, конечно, жестоко проученной.

Воевать с Австрией желательно; изгнать ее из Боснии, Герцеговины и вообще из пределов Балканского полуострова необходимо; но разрушать ее – избави нас, Боже. Она до поры до времени (до православно-культурного возрождения самой России и восточных единоверцев ее) – драгоценный нам карантин от чехов и других уже слишком европейских славян» (см.: «Национальная политика как орудие всемирной революции», с. 44–45).

Кажется – ясно.

А вот заметка г-на Астафьева о моем «нападении» на «национальность», на «национальное начало», на «национальные идеалы» и т. д.

«Не страшны для национального идеала и такие нападения, как сделанное на него не так давно К. Н. Леонтьевым в брошюре *«Национальность как орудие всемирной революции»*, брошюре, замечательно талантливой по художественной яркости нарисованной картины нашего века, но или ничего не доказывающей против начала национальности, или доказывающей гораздо больше, чем автору нужно. Ведь если прожитый нами век революций был *вместе с тем* и веком пробудившегося сознания и торжества национального начала, то был он также веком и весьма многого другого, например, торжества рационалистической философии, а затем – материализма, скептицизма и позитивизма, веком небывалых успехов техники и промышленности, экономического развития, роста и торжества космополитической буржуазии, парламентаризма и т. д. и т. д.! *Внутренняя* связь всего этого «другого» с революцией, не более и не менее связи ее с национальным началом, доказывается простым фактом *одновременности* всех этих явлений, которая вообще нигде и ничего сама по себе не доказывает (как *намек* только на приложение самого *несовершенного* из индуктивных приемов – метода «согласия»). То же обстоятельство, что национальным началом было возможно воспользоваться, как *орудием* революции, против этого начала решительно ничего не говорит или же говорит против *всех* начал и сил жизни вообще, ибо все они могут быть и бывали орудиями и революции, и эволюции. *Орудиями* революции становились, как мы знаем, порой и наука, и искусство, имена же Марсилия Падуанского, Ла Боэси, Мильтона, Суареса, Марианы и других напоминают нам, что даже в *религии* не раз пытались искать освящения для теорий народовластия, цареубийства и революции, а «мудрый» Локк даже специально изобрел (в своих *two treatises*^[7]) для революции благочестивую кличку «*appeal to heaven*» (апелляция к Небу). Что же все это может доказывать?! Конечно уж, не враждебность революции и консервативность начала *космополитического*... (см.: «Русское обозрение», март, «Национальное самосознание», с. 277–278).

Прошу кого угодно решить, прав ли я или нет, говоря, что здесь спор невозможен, а приличен только самый простой протест, самое краткое оправдание?

Я не хотел нападать на тот русский (или даже всеславянский) национальный идеал, который в духе Данилевского должен воплощаться в самобытной культуре, самобытной жизни, самобытном государственном строе и т. д. Я напал только на идеал чисто политического всеславянства. Да и то условно.

Я нападаю на идеал всеславянского объединения *когда бы то ни было и во что бы то ни стало*; я считаю этот последний идеал (чисто политический) для первого (для идеала самобытности духовно-культурной) весьма опасным уже по одному тому, что большинство образованных *не русских* славян слишком привыкло к европейским формам свободы и равенства или слишком предано им, не говоря уже об иноверии славян австрийских.

И мне кажется, что ни из отрывка, приведенного здесь мною в мое оправдание, ни из целой брошюры невозможно было никак вывести, что я против этого *второго* (культурного) идеала.

Я бы не позволил себе сказать, что г-н Астафьев *не понимает* меня, если бы он возражал мне так, как возражали г-н Киреев и критик «Русского вестника».

Они оба, признавая меня ревностным защитником и служителем национально-культурного идеала вообще, возражали, – один, указывая на излишние мои за этот идеал опасения, другой – защищая славянофилов от обвинения в либерализме и укоряя меня (слегка) за неразумную любовь мою ко всему величавому и живописному в жизни и за равнодушие ко всем бедам и скорбям, которые эта «эстетика» причиняет.

Ни о том, ни о другом из этих двух критиков моих я не имею ни малейшего права сказать, что они не поняли моей брошюры; я могу только сказать, что они не во всем согласны со мной.

Не позволил бы я себе также обвинить г-на Астафьева в непонимании, если бы он (как я уже раз это говорил) признал меня защитником и служителем национально-культурного идеала, *но до того* (на этот, по крайней мере, раз) неумелым и бестолковым, что, судя по брошюре моей, можно принять меня, при некотором невнимании, за *противника* этого идеала, за *нападающего на него*.

Если бы г-н Астафьев вот так бы про меня сказал, то я бы охотно промолчал, ибо ненавижу и презираю всякую полемику не за общую идею, а *за себя*, как литератора. Тогда мне пришлось бы или признать этот строгий литературный суд заслуженным, или утешаться надеждою, что вкусы бывают разные. Ему не понравилось; другим, может быть, понравится мое изложение, моя манера писать.

Но тут дело идет не о манере, не об изложении, но о том, что зовется гражданскими или политическими убеждениями человека.

Я не желаю, чтобы меня считали противником *культурного национализма*, и потому молчать мне нельзя. Пусть считают меня самым плохим, самым слабым, самым взбалмошным и бесполезным поклонником и защитником этого идеала, но все-таки искренним защитником и пламенным поклонником его.

Доказать, что я *сознательный противник культурного национализма*, никто не может; могут доказать только, что я не умею хорошо писать и рассуждаю до того непоследовательно и неубежденно, что даже и ученый ум г-на Астафьева затмился под влиянием моей неспособности.

Это быть может...

Хотя и тут выходит что-то загадочное... Даже и при готовности смириться, все-таки еще раз невольно спрашиваешь себя: «Отчего же не затмилась умы г-на Киреева и того человека, который составил библиографическую заметку в июньской книжке «Рус<ского> вестника»?»

Они, видимо, находят, что у меня все понятно, хотя далеко не все, по их мнению, основательно.

Это совсем другое дело, и против этого я спорить тоже не буду, но – по другой причине...

Я уверен, что основательность моих взглядов оправдывается самой историей. Другие люди немного позднее или сами собой дойдут до этих взглядов, или просто-напросто (т. е. тщательно обо мне умалчивая) воспользуются моими мыслями и будут распространять их гораздо удачнее моего; так уже случилось по болгарским делам; и еще недавно я имел утешение прочесть в прошлогоднем «Новом времени»^[8] следующие строки: «Быть может, в те времена болгары не успели еще проявиться во всей полноте своих хищнических инстинктов, но для тех, кто хотел видеть, не могло быть сомнения и тогда, в чем заключались действительные цели передовой Болгарии. Еще в 1873 году в «Русск<ом> вестн<ике>» К. Н. Леонтьев, долгое время служивший консулом в болгарских землях, метко очертил болгарское движение в статье, озаглавленной «Панславизм и греки». Да болгары и не скрывали своих планов; не Фанар и не Порта озабочивали их предусмотрительность, а Россия, грядущая на Востоке, которая, опираясь на общность веры и племени, встретила бы сочувствие в болгарском простом народе. *Рационалистический поход* болгарской интеллигенции против Фанара был еще в большей степени направлен против России. События, в настоящую минуту совершающиеся в Болгарии, не более как продолжение того, что четверть века тому назад устно и на столбцах газет проповедовали болгарские народные «дейцы»: Христо Ботев, Любен Каравелов и Раковский».

Я подчеркнул в тексте «Нов<ого> вр<емени>» слово «рационалистический поход», ибо нахожу, что *рационализм югославянской интеллигенции гораздо опаснее для России при тесной дружбе с этой интеллигенцией, чем при вражде ее.*

Статью «Панславизм и греки», о которой упоминает «Нов<ое> вр<емя>» я напечатал в 1873 году; но позднее, лет через десять (<18>82 – <18>83), в еженедельном «Гражданине» я говорил так:

«Одним из обстоятельств, наиболее выгодных для нас и для всего славяно-восточного мира, я считаю *неустройства в Болгарии и Сербии, грубые промахи короля Милана и неблагодарность либеральных болгар и сербов*» (см. мой сборник «Восток, Россия и славянство», Т. I, с. 296 и т. д.^[9]). Через два-три года все то, чего я ждал и на что я надеялся (для нашего вразумления), обозначилось с полнейшей ясностью. «Грубые промахи» короля Милана привели Сербию к современной в ней религиозной и политической реакции в пользу Православия и России^[10]. И Болгарии, так или иначе, волей или неволей, не избежать подобного поворота. Все это нам урок, чтобы мы надеялись не на *самые племена, а на религиозные основы их, общие с нашими.*

Писал я также в 1880 году о неотчуждаемости дворянских земель; писал в такое время, когда сами дворяне смеялись над этой мыслью (см. т. II моего сборника, передовая статья «Варш<авского> дневн<ика>»^[11]).

Теперь над этой мыслью не только никто не смеется, но и весьма влиятельные люди сильно озабочены ею. То же, вероятно, случится с моим противоположением идеала чисто племенных объединений идеалу культурному и творческому, с моей боязнью за второй идеал при виде плачевных результатов племенной политики на Западе.

Примут мое мнение и другие позднее; поймут мои чувства. Придет время, когда и г-н Астафьев увидит ясно свою непонятную ему теперь ошибку и сознается в ней.

И как же не ошибка!

Национальный русский идеал понимается всеми более или менее так. *Православие и его усиление; самодержавие и его незыблемость; быть может (если это удастся), сообразный с настоящими потребностями жизни (и по этому самому своеобразный) сословный строй; сохранение неотчуждаемости крестьянских земель (и, если возможно, то и закрепление дворянских); сохранение в быте нашем, по мере сил и возможности, как можно больше русского; а если посчастливится, то и создание новых форм быта; независимость в области мышления и художественного творчества.*

(И Данилевский *все* это имел в виду, за исключением только одного – прочного сословного переустройства, до которого он случайно как-то не додумался.)

Этому самому национальному идеалу человек в течение двадцати с лишком лет служит, как умеет, пером своим. За этот национальный идеал он боится, чтобы, при грозящих теперь ежеминутно политических переворотах, не случилось почти внезапного сближения и даже какого-нибудь *смещения с западными, слишком европейскими славянами*.

Человек от избытка любви к этому русскому национальному идеалу трепещет за него, быть может, и до неразумения. А другой человек, вдобавок весьма умный и ученый, называет его *противником* этого идеала, уверяет и себя, и других, что эта боязнь, эта защита, этот патриотический трепет – *называются нападением*.

Непостижимо!

Впрочем, и я не совсем прав. Я не так озаглавил мою брошюру. Нужно было озаглавить ее так:

«Культурный идеал и племенные объединения».

Это было бы точнее и яснее.

Что касается до названия «национальная политика», то это одно из самых сбивчивых выражений нашего времени.

Под этими словами «национальная политика» подразумеваются действия весьма различные и даже нередко противоположные. Употребляя его по привычке, люди, даже и согласные во всем главном, могут легко сбиться и в частности не понять друг друга.

Что-нибудь подобное случилось, вероятно, и у нас с г-ном Астафьевым. Я, например, не только не «противник» ему, но, напротив того, искренно сочувствую почти всем его мыслям, выраженным в статье «Национальное самосознание». Да едва ли он находит, что для удовольствия заключить поскорее в наши братские объятия всех возможных чехов, словенцев и хорватов стоит жертвовать и Православием, и самодержавием, и всеми теми глубокими особенностями русского духа, которыми он так дорожит?

Едва ли!

А если так, то в чем же наше разногласие?

И как это я нежданно-негаданно из союзников попал в противники?

Удивительно!

* * *

На этот-то невинный вопль моего изумления и моей непонятливости г-н Астафьев ответил известной Вам уничтожающей меня статьей («Моск<овские> вед<омости>», июнь, 1890, № 177).

После этого второго его на меня нападения, вокруг меня все стало еще темнее... До статьи «Моск<овских> вед<омостей>» я не понимал только его; после нее – я перестал и сам себя понимать... Все многочисленные и ясные представления мои омрачились; все понятия мои спутались...

Г-н Астафьев, как сказочный волшебник, окутал и себя, и меня облаками философского тумана, в котором я ослеп; не узнаю сам себя и не знаю уж – куда я принадлежу.

Я даже спрашиваю себя наконец: «А что – если и в самом деле в этом тумане скрыта какая-нибудь недоступная мне, подавляющая меня истина, которой я только по недостаточности моих метафизических сил понять не могу и видеть не умею? Чем же он виноват, если мой ум такой поверхностный, легкий, эмпирический и даже беллетристический, что я за всеми изгибами его философских «обоснований» проследить не в силах!»

А если нет?.. Если я не так уж слаб умом и не так уж виноват, как с испуга это мне показалось?..

Как это решить?..

Как же мне быть?.. Куда я принадлежу? Из националистов меня г-н Астафьев выбросил; в космополиты я никак не гожусь...

Ибо, если бы даже, при виде слишком глубокого проникновения русской жизни западными началами, человек и перестал бы верить в возможность того культурного обособления России, о котором мечтал Данилевский² и которому этот человек сам прежде пламенно сочувствовал, то и от подобного разочарования до настоящего космополитизма еще очень далеко. Иное дело *верить* в идеал и *надеяться* на его осуществление; и иное дело – *любить* этот самый идеал. Можно любить и *безнадежно* большую мать; можно, даже и весьма страстно желая культурного выздоровления России, утратить, наконец, веру в это выздоровление.

Вот на основании подобных-то чувств и наклонностей и я в космополиты не гожусь. Если бы я, под какими-нибудь подавляющими влияниями, утратил бы окончательно веру в глубокие и *разнородные* особенности русского *национального* призвания, то уж радоваться моему неверию – я решительно был бы не в силах.

Я был бы в таком случае похож на христианина времен мусульманского торжества на Востоке. Очевидность мешала ему в то время надеяться, что христианство – и духовно, и вещественно – отразит натиск исламизма в Сирии, Персии, Египте; но ведь полюбить ислам и верить в него *лично*, как во благо – он не мог.

Так и я. Я могу поверить, наконец, в *торжество* рационалистического космополитизма; но никогда не сочту благом это торжество. В космополиты я поэтому не гожусь; настоящим же националистом меня не хотят признать, только потому, что я не могу ввиду известных соображений ставить культурно-государственную будущность России в зависимость от объединения славян.

И вот в таком-то странном положении я решился обратиться к Вашему суду.

² В *подробностях*, впрочем, не совсем прозорливо, а местами и вовсе ложно.

Письмо 3

Революция по г-ну Астафьеву и *революция* по-моему.

В первой небрежной заметке своей о моей брошюре («Русское обозрение») г-на Астафьев отнесся к термину «революция» совсем не так, как отношусь я.

Уже из прежних моих сочинений, достаточно ему знакомых, явствует, что я революцией называю весь тот эгалитарный прогресс, который обнаружился с полной систематической силой в конце XVIII века во Франции и продолжается до сих пор не только там, где его ищут сознательно, но очень часто и там, где его опасаются и ненавидят.

Я не намерен, конечно, здесь сызнова излагать и объяснять то, что я уже достаточно подробно излагал и объяснял в стольких прежних статьях моих (см. «Византизм и славянство» и особенно *последние шесть глав*³). Лучше, доказательнее этого я не берусь написать о том же.

И Вы, Владимир Сергеевич, знаете, что для меня «революция» и «прогресс» – одно и то же. (Конечно, прогресс, понятый *не как развитие*, не как *дифференцирование в единстве*, а как *уравнение и ассимиляция*)

Я в этом случае держусь терминологии Прудона, который особенно просто и ясно еще в <18>50-х годах говорил, что *революция есть не что иное, как движение человечества к всеобщему земному умеренному благоденствию и высшей справедливости, необходимым условием которых должна быть всеобщая ассимиляция до полнейшего однообразия всех людей, даже и умственного*⁴.

Дальнейшей ассимиляции, по моему взгляду, всегда предшествует *смешение*, т. е. ничем почти не возбраняемое и *ускоренное движение* самих людей туда и сюда, вверх и вниз по социальной лестнице, из страны в страну, от одного занятия к другому и т. д.

Было время, когда г-н Астафьев эту мысль мою о *смешении* как *предсмертном* явлении в истории всякого общества и всякого организма очень ценил и называл даже *глубокой*. Он о ней помянул добром и во втором своем мне возражении. Он ценит эту *гипотезу* мою, как психолог; ибо находит, что *социальное смешение* влечет за собою *психическую смуту*, неустойчивость убеждений, смешение понятий, неясность или неопределенность чувств и т. д.⁵

Революция, ассимиляция, эгалитарно-либеральный прогресс – все это для меня только разные названия одного и того же процесса. Этот процесс, если он не приостановится и не возбудит наконец крайностями своими глубочайшее себе противодействие, должен рано или поздно не только разрушить все ныне существующие особые ортодоксии, особые культуры и отдельные государства, но, вероятно, даже уничтожит и само всечеловечество на земле, предварительно сливши, *смешавши* его в более или менее *однородную* – более или менее *однообразную* – социальную единицу.

В однообразии – смерть.

Все, что служит космополитизму, все, что служит всемирному *ускоренному движению* и *общению*, – хотя бы самым невинным и непреднамеренным образом, – служит, поэтому, *всеобщему разрушению жизни* на этой земле.

Это мое мнение не противоречит ничуть потребностям всемирной христианской проповеди, всеобщего христианского *общения* и мысли о неизбежности при этой некоторого *однообразия* в *христианстве*. *Незадолго до конца исторической жизни человечества* на этой (старой) земле и под этим (старым) небом Евангелие должно быть проповедано *повсюду*.

³ Сборник мой «Восток, Россия и славянство». Т. I.

⁴ См. его «Confessions d'un revolutionnaire» и «Contradictions economiques»⁴⁷¹ (1850 и 1851)

⁵ См. две брошюры г-на Астафьева «Смысл истории...» и «Симптомы и причины...» (М., 1885)

И это есть, конечно, своего рода ассимиляция. И проповедь всеобщего христианства есть проповедь разрушительная, революционная, если хотите.

Она революционна в *двух* отношениях.

Во-первых, проповедь христианства, в наше время столь охранительная для обществ, на почве христианской выросших и развившихся, будет разрушительна для стран мусульманских и языческих, буддийских, конфуцианских и т. д.

Христианская проповедь в этих странах может послужить к ниспровержению того векового строя, который основывался на этих разнородных исповеданиях. Для *этих стран* она революционна.

Во-вторых, проповедь *всеобщего* христианства революционна еще и потому, что при успехе своем она в значительной мере должна будет *усилить* общечеловеческое *смешение*, *ослабить* еще больше развивающее *дифференцирование*: *приблизить* человечество к еще большей против теперешнего *однородности*; послужить *всеобщей ассимиляции жизни* на земном шаре.

Стойкости же *вечной*, прочности *незыблемой* и всеобщее принятие христианства *земному* обществу все-таки не доставит.

Так пророчит и само Евангелие. После повсеместной проповеди христовой веры *приблизится конец*.

К этому же самому Евангельскому выводу мы придем, если допустим, что моя гипотеза *предсмертного смешения* верна.

Если она верна для отдельных государств и культур, то она должна оказаться верною и для всемирного государства, и для всеобщей *более или менее однородной* христианской культуры.

Если окажется, говорю я, при более точном и специальном исследовании этого вопроса, что моя гипотеза верна, то придется согласиться, я думаю, что она не только не противоречит Евангельским и Апостольским предсказаниям, но и вполне совпадает с ними.

Но хотя с *самой общей* точки зрения это и так, однако, между ассимиляцией христианской и ассимиляцией *утилитарной* (в духе нынешнего прогресса) разница все-таки огромная, не только со стороны их сознательных *целей*, совершенно противоположных, но и со стороны тех *социальных результатов*, прямых и косвенных, которые могут выйти из их торжества.

Христианство и не может, и не *ищет даже (по существу своего учения)* приблизить всех людей к одному «полезному» и *среднему* типу до такой степени, до какой ищет и может приблизить их к этому типу буржуазно-европейский прогресс в случае долговременного своего торжества. («Люди утратят всякое понятие о разнообразном развитии *характеров*, об индивидуальности и *ее пользе*», – говорит Дж. Ст. Милль.)

Некоторая степень всеобщего *сходства* (ассимиляции), разумеется, необходима и для всякой высшей степени развития (для наибольшего единства в наисильнейшем разнообразии).

Не углубляясь далеко в историю, возьмем, например, Россию лет 50, 70, 100 тому назад.

Сословия наши тогда были очень резко разграничены; роды воспитания весьма различны; привычки, вкусы, понятия, предрассудки, народный быт в провинциях были очень разнородны. Но все эти *разнородные* русские люди были между собою *сходны* в том, что они все говорили одним языком, были подданными одного и того же царя и в подавляющем большинстве крещены в одну и ту же православную веру. Эта степень ассимиляции *достаточная*; она не чрезмерна.

Много же дальше какой-нибудь подобной этому ассимиляции христианство и не ищет дойти. Мы знаем, что оно издавна уживалось с весьма разнородными общественными порядками. Демократическая же ассимиляция никакого иного порядка, кроме своего собственного, признавать не хочет.

Ассимилируя людей более или менее настойчиво, более или менее удачно со стороны *исповедания*, христианство *всего остального* в жизни людей и не искало непременно в себя претворить. Оно довольствовалось всегда ролью мозга и нервной системы в живом организме, не торопясь обратить его в бесформенную и однородную массу.

Дальше этой роли *мистического единения* в общественном и племенном *разнообразии* христианство и не могло даже идти, как я сказал, *по существу своего учения*.

Высший идеал его: *святость*, отречение, аскетизм, самоотвержение о Христе – доступен немногим. *Всем* доступна только самая низшая ступень: возможность посредством веры и покаяния избавиться от адской муки за гробом. И больше ничего!

«Званных много, но избранных мало»^[12]!

Прогресс же, со стороны личного идеала, удовлетворяется очень малым: мелким стоицизмом в ежедневном труде; той «вексельной честностью», о которой напомнил г-н Астафьев^[13]; миролюбием, главным образом, поневоле, ибо отдельные люди будут все более и более опутываться мелкой сетью однородной легальности и т. д.

Идеал общественной жизни по требованиям прогресса несравненно ниже, однороднее и *ровнее*, чем та картина жизни, которая допускалась христианством с самого начала его и допускается им до сих пор.

Демократический или утилитарный прогресс (я не хочу сказать, прогресс *рационалистический*, ибо настоящий *разум* совсем не за него!) не допускает ничего *вне себя*; он слишком *сердечен* для этого. Христианство, допуская издавна *вне себя* многое, отчасти преднамеренно, отчасти и невольно (по невозможности вполне справиться), старается только всего этого, *вне стоящего*, благотворно *коснуться*, старается всюду лишь протянуть нити своего оживляющего влияния.

Сверх того, христианство не может существовать без мистически освященной *иерархии*. Вот и еще причина *неравенства и несходства* между людьми.

Прогресс же никакой *своей* иерархии не придумал, да и не нуждается в ней.

По всем этим причинам даже и повсеместное, самое искреннее и глубокое восприятие христианского учения (в форме какой бы то ни было *церковности*) – не грозит уравнивать и ассимилировать человечество до той убийственной однородности, до какой может довести его современное учение прогресса при долгом и беспрепятственном господстве.

Сверх всего этого не надо забывать и того, что от *проповеди* учения евангельского всем и всюду – до искреннего и глубокого *принятия* его всеми и всюду еще очень далеко!

Изо всего сказанного, мне кажется, легко вывести еще раз и окончательно следующий вывод: всеобщая христианская ассимиляция человечества и по сознательным (мистическим, духовным) целям своим, и по возможному образу воздействий своих, как преднамеренных, так и невольных, на общественную жизнь – ничуть не сходна с утилитарной ассимиляцией «прогресса».

Для народов, на христианстве выросших, этого рода ассимиляция – *мистически-церковная*, с какой бы стороны она ни пришла, – есть и будет прежде всего явлением охраняющим, зиждительным, а никак не революционным, подобно ассимиляции утилитарной (свободно-равноправной).

Для миров же нехристианских, для государств и культур, возросших на мусульманстве, браманизме, буддизме и т. д., христианская ассимиляция, конечно, будет так же разрушительна (революционна), как она была разрушительна для древних языческих миров; но даже и для них, по всем вышечисленным причинам, этого рода ассимиляция не может быть так полна и в историческом смысле убийственна, как ассимиляция европейской эгалитарности.

Если «последние времена» *еще не слишком* близки, если христианству предстоит в самом деле не одна только последняя и неудачная проповедь, но и временное торжество (воинствующей Церкви), то никакого нет сомнения, что это временное торжество будет иметь больше характер *всеобладания*, чем характер *всесмещения и всепретворения*.

Временное и высшее торжество земной, воинствующей Церкви будет, вероятно, больше похоже на *последнее и сознательное* единство в *последнем организованном* разнообразии, чем на смешение в однородности.

Я говорю еще раз – *временное* торжество; *последнее* единство; *последнее* разнообразие; потому, конечно, что и при этом торжестве, и при этой наилучшей (положим) организации жизни нельзя ожидать ни вечного покоя сердец на *этой* земле, ни вечной нерушимости общественного строя.

Нельзя этого ожидать ни по здравому смыслу, ни судя по предсказаниям Св<ятого> Писания.

Вам должно быть лучше моего известно, что даже и те мистические мыслители, которые думают, что перед концом света пройдет еще на земле целое тысячелетие – мира, любви и порядка, и они все-таки говорят: «*перед концом*»; т. е. и они не решаются отрицать того, что когда-нибудь «прейдет» окончательно «образ мира сего»^{14}. Даже и это тысячелетнее *всеобладание* Церкви; эта *теократия будущего*; это последнее и *высшее* единство в *кое-каком* остаточном разнообразии и оно, *по разуму, может*, а по Евангелию даже *должно* разрешиться опять *тем же*: *всесмешением* и *всерасторжением* общественного материала, *отступлением* от единства и власти веры.

Помните пророчество Исаяи (гл. 24^{15}): «*Се Господь разсыплет вселенную и опустошит ю...*» «*И будут людие аки жрец, и раб аки господин, и раба аки госпожа; будет купуяй яко продаяй, и взаймемляй аки заимодавец, и должный аки ему же есть должен. Тлением истлеет земля и расхищением расхищена будет земля*».

Но как бы то ни было, произойдет или нет когда-нибудь соединение Церквей; в Православие ли перейдут католики, или православные подчинятся римскому единоначалию; наступит ли *перед концом* такое тысячелетие мира и любви, или уже *и теперь* все бесповоротно и быстро, с небольшими лишь задержками, движется к этому концу⁶, – во всяком случае ассимиляция христианская никогда не может быть сходна с нынешней европейской, буржуазной ассимиляцией.

И из того, что человек опасается последней и ненавидит ее, вовсе не следует, чтобы он был врагом и всехристианской ассимиляции.

Даже *и не исповедуя лично* в сердце своем ни одного из христианских исповеданий, человек, *ставший на почву моей гипотезы*, может легко различить и в будущем плоды религиозного единения от результатов утилитарного уравнивания.

Даже *и не веруя лично*, говорю я, человек, допустивший верность моей гипотезы смешения в однородности, всегда должен предпочесть без колебания первое – последнему.

Большого против прежнего разнообразия исторической жизни, увы, теперь уже нечего ждать впереди! Человечество пережило его; оно уже перезрело. *Новых племен, действительно* молодых народов негде искать. Все известно; все или бездарно, как негры и краснокожие в Америке, или более или менее *старо* – ив Китае, и в Индии, и в Европе, и даже в России... Какая у нас молодость!

Функции жизни становятся, правда, все сложнее и сложнее; *движение жизни* все ускореннее и запутаннее; но *формы* или *типы* ее развития – все однороднее и серее. *Идеал человека* – все ниже и *проще*; не герой, не полубог, не святой, не чудотворец, не рыцарь; а *честный труженник*.

⁶ Так думают многие *духовные* люди наши; между прочим, затворник епископ Феофан. В небольшой заметке своей, озаглавленной «Отступление в последние дни мира», он выражается так: «Приятно встречать у некоторых писателей светлые изображения христианства в будущем, *но нечем оправдать их*. Точно, благодатное царство Христово расширяется, растет и полнеет, *но не на земле – видимо, а на Небе – невидимо*, из лиц, и там, и здесь, в царствах земных приготавливаемых *туда* спасительною силою Христовою». «*На земле же господство зла и неверия расширяется видимо*».

Надо поэтому и с чисто рациональной точки зрения предпочитать тот род ассимиляции, который обещает быть менее всепоглощающим и всепретворяющим, т. е. менее мертвящим, менее убийственным.

И это еще, я повторяю, не веруя лично, не исповедуя всем сердцем Троицкого Бога и не поклоняясь пламенно всему тому, что из учения о Св<ятой> Троице истекает...

Если же к вышеуказанному рациональному предпочтению у человека прибавится и личное христианское чувство, то, конечно, отношения его к ассимиляции христианской и к ассимиляции эгалитарно-европейской станут еще более противоположными.

Перед одной – благоговение; против другой – глубокая ненависть!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Настоящая статья публикуется по книге: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891) (М.: Республика, 1996. С. 625–678; 749–762), которая, в свою очередь, сверена Г. Б. Кремневым и В.И. Косиком по рукописям, хранящимся в (ГЛМ) государственном литературном музее (ф. 196, оп. 1, д. 29–32). Эта статья К. Н. Леонтьева есть третья попытка его «объяснения» с П. Е. Астафьевым. Двумя первыми попытками следует считать незаконченную работу «Культурный идеал и племенная политика». Теперь К. Н. Леонтьев пытается апеллировать к интеллектуальным способностям Вл. С. Соловьева, который согласился «рассудить спор», о чем и состоялась устная договоренность во время пребывания К. Н. Леонтьева в Москве (с 18 августа по 14 сентября 1890 г.). Этим самым К. Н. Леонтьев попытался осуществить свою давнюю мечту – получить развернутое суждение Вл. Соловьева о своей культурофильской концепции. Об этой устной договоренности К. Н. Леонтьев писал священнику И. Фуделю в письме от 4 декабря 1890 г.: «...мы с Соловьевым уговорились так: я обращусь к нему письмом (в «Русском обозрении») с просьбой рассудить меня с Астафьевым (конечно, теоретически, а не морально). Он отвечает. Первая ½ этой работы послана ему на днях. 2-я кончается. Озаглавлено: «О важном и великом по поводу малого и неважного». (Неважное – это наше недоразумение с Астафьевым.) Но так как я этими письмами не очень доволен, к тому же затруднил Соловьеву ответ тем, что его самого (судьба-то) беспрестанно вынужден был затрагивать и даже обвинять, то на меня нашли сомнения и я просил его решить по совести (с точки зрения моих интересов), печатать ли их или бросить это дело. На днях жду от него телеграммы.

2.

Скорее всего, К. Н. Леонтьев здесь цитирует вовсе не IV гл. Книги Бытия.

3.

См. работу А. А. Киреева «Народная политика, как основа порядка». СПб., 1889.

4.

Эта фраза помещена под фотографией Н. Я. Данилевского его книги «Россия и Европа». СПб., 1888.

5.

См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1888. С. XXVIII.

6.

Этот эпитафия: «Кто хорошо распознает болезнь, тот хорошо ее лечит» – на латинском языке К. Н. Леонтьев предпослал своей работе «Национальная политика как орудие всемирной революции».

7.

Two treatises (англ.) – два трактата.

8.

См.: Прокофьев В. А. Россия и греко-болгарская распря // Новое время. 1889. 12 июля.

9.

Это пророчество К. Н. Леонтьева сбылось.

10.

После войны 1877–1878 гг. Сербия в отличие от Болгарии была отодвинута на периферию русской дипломатии, что было обусловлено переходом князя Милана на проавстрийские позиции.

11.

Статья К. Н. Леонтьев «Неотчуждаемость дворянского участка и борьба с крамолой» была опубликована 10 апреля 1880 г в качестве передовицы «Варшавского дневника».

12.

Мф 20:16; 22:14.

13.

Русский дух «моральность свою, личную совесть ставит всегда выше безличной легальности, вовне организованной и отвне поддерживаемой. Если отсюда вытекают некоторая наша беспорядочность, халатность и неряшливость в исполнении житейских обязанностей наших, некоторый недостаток того, что К. Н. Леонтьев назвал «вексельною честностью», составляющею высшую гордость и славу заправского западного буржуа, – то все эти недостатки наши и вытекающие из них житейские неустройства и неудобства связаны именно с тем, что для нас навсегда моральность выше легальности, душа дороже формальной организации, в которую мы никогда и не полагаем эту душу». См.: Русское обозрение. 1890. № 3. С. 290.

14.

1 Кор 7:31.

15.

Ис 24:1–3.

47.

Работы Пьера Прудона называются «Исповедь революционера» и «Экономические противоречия».